

ОБЛИК «ИЗМАЙЛЬСКОГО ВЕТЕРАНА» В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ А.С. ПУШКИНА

В.А.Кошелев

(доктор филологических наук, профессор, Новгород Великий, Россия)

У статті на основі текстуального аналізу центрального персонажа повісті О.С.Пушкіна «Станционный смотритель» пропонується її нове осмислення, протипоставлене традиційному, як повісті, позбавленій соціальної спрямованості, повісті, що відкриває загальнолюдську і позачасову ситуацію, в якій виявляється психологія «ізмаїльського ветерана», готового захищати і свою дочку, і свою вітчизну.

The article, based on the textual analyses of the central character's story "Station Smotrytel" by A.S.Pushkin, proposes a new understanding, opposed to the traditional one, as the story devoid of social orientation, the story which opens the universal and timeless situation in which psychology of "Ismail veteran" is discovered, the veteran who is ready to defend his daughter and his fatherland.

В стихотворении Пушкина «Клеветникам России» (1831) является неожиданный персонаж:

*Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтит свой измайльский штык?.. (1, III, 270)*

В черновиках этот персонаж был представлен еще торжественнее:

*Иль праздный исполин, простертый на постеле,
Не в силах уж поднять свой измайльский штык?.. (1, III, 878)*

Кажется, будто перед нами – обычная риторическая апелляция к знаменитому суворовскому штурму, примененная для «патриотической» пропаганды. Но нет: в сознании Пушкина этот «старый богатырь» («праздный ветеран») существует во вполне конкретном обличье, далеко от условных призывов.

В середине 1820-х гг. Пушкин в пометах на сборнике Батюшкова заметил о стихотворении своего предшественника «Мои Пенаты», что в нем смешаны условные античные данности «с обычаями жителя подмосковной деревни»: «...*норы и келии*, где лары расставлены, слишком переносят нас в греч<ескую> хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином Суворовского солдата с двуструнной балалайкой» (1, XII, 273). Пушкин в данном случае видит поэтическую «конкретику», которая «слишком уже противоречит» общей условности поэтических представлений.

Между тем, в пространном описании Батюшкова нет особенной «конкретики»:

*Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками
Как вихорь на полях,
И вокруг его рядами
Враги ложились в прах!.. (2, 1, 208)*

Это описание весьма условно предполагает «суворовского солдата»: некий вненациональный «воин», «калека», «старец, убеленный годами» и некогда раненный «на приступе». Из своего самодельного инструмента он извлекает песню про какого-то непобедимого «витязя с нагайкой», в котором Суворов

«угадывается» лишь при известном воображении. Между тем, Пушкин однозначно видит здесь *именно и только* «суворовского солдата» - и прежде всего солдата «измаильского». Почему?

Прилагательное *суворовский* довольно часто встречается в пушкинских текстах: «суворовский лавр» (1, III, 275), «суворовские генералы» (1, IX, 6), «суворовские войны» (1, XI, 55), «суворовский полк» (1, XII, 201) и др. В этом ряду «*суворовский солдат*» - персонаж достаточно яркий, однозначный и вполне «устойчивый». Он рождает представление о наиболее значимой победе Суворова – и возникает замечательный образ старого «ветерана». Это ветеран именно Измаильской битвы, а не, допустим, войны 1812 года. Взятие Измаила было общерусской *национальной* победой (означавшей победу в многолетней войне с Турцией). Между этим подвигом русского оружия и стихотворением «Клеветникам России» - больше *сорока лет*: по тем временам, весьма значительный срок для жизни «ветерана». И если уж такой «праздничный ветеран» готов «завинтить свой измаильский штык» при наступлении новой битвы, значит, действительно наступили серьезные времена!

Поведение этого старого солдата ориентировано на «суворовские» правила и на представления простого народа. Он - герой «штыка» («Пуля дура – штык молодец!»), он – «чудо-богатырь». При этом – «богатырь», «*зснувший*» своим богатырским сном. В пушкинском представлении истинный «богатырь» - стар: уже в «Руслане и Людмиле» князь Владимир представлен сидящим «в GRIDнице высокой / В кругу седых богатырей» (1, IV, 72). Представление такого рода сконцентрировано в былинном облике Ильи Муромца. Вот как оно закреплено, например, К. Аксаковым: «Среди молодых сильных могучих богатырей один только стар: богатырь Илья Муромец, далеко превосходящий силою всех остальных. Песня не придает ему обыкновенного присловья: *удальи*; и точно — в нем нет удалства. Все подвиги его степенны, и все в нем степенно: это тихая, непобедимая сила. <...> Внутренняя тишина духа выражается и во внешнем образе, во всех его речах и движениях. В богатыре этом, несмотря на его страшную, вне всякого соперничества, силу, слышится еще более сила духа <...> В этом образе любимого русского богатыря как не узнать образа самого русского народа» (3, 264, 271).

Впрочем, в пору создания стихотворения «Клеветникам России» понятие «измаильский солдат» (а тем более «измаильский штык») еще не обрело собственно мифологического или символического оттенка значения. Осенью 1831 г. Пушкин послал вновь написанную оду своей знакомой Е.М. Хитрово (дочери знаменитого участника штурма Измаила М.И. Кутузова). Та – прислала ему ее французский перевод, в котором Пушкин отметил одну показательную неточность: «*Измаильский штык la bayonnette d'Ismaïl – non d'Ismaïlof*» (штык Измаила, а не Измайлова – *франц.*) (1, XIV, 230). А известный вельможа С.С. Уваров в своем стихотворном переложении пушкинской оды так передал тот же образ: «*Voions, le vieux Géant est-il tout épuisé? / Du glaive d'Ismaïl le fer est-il brisé?*» (Посмотрим, истоцились ли силы старого великана? / Или сломан *железный меч* Измаила? – *франц.*) (1, XIV, 234).

Между тем, Пушкин изначально воспринимал Измаил прежде всего в его *символическом* ореоле. В декабре 1821 г., через 31 год после взятия неприступной крепости войсками Суворова, он посетил Измаил (который тогда назывался Тучков – в честь генерала С.А. Тучкова, начавшего строить город на месте крепости). Пушкин сопровождал И.П. Липранди, который поехал в путешествие по южной Бессарабии по делам («произвести следствие в 31-м и 32-м егерских полках»). Основной интерес поэта был связан именно с историей, которую он прежде изучил в «подробностях». Липранди, например, указывает, что Кагульское поле проезжали глубокой ночью, – но остановились возле него в полной темноте: «Тут я опять убедился, что он вычитал все подробности этой битвы, проговорил какие-то стихи и потом заметил, что Ларга должна быть вправо и пр.»

По приезде «обошел всю береговую часть крепости и, как теперь помню, что он удивлялся, каким образом Де-Рибас, во время суворовского штурма, мог, со стороны Дуная, взобраться на эту каменную стену и пр. Подробности штурма ему были хорошо известны». На другой день лейтенант И.П. Гамалей «возил его опять в крепость; потом на место, где зимует флотилия, в карантин; а после обеда хозяин водил их в кассино». И на третий день «Пушкин опять отправился <...> в крепостную церковь, где есть надписи некоторым из убитых на штурме» (4, 1, 324-325). Измаил в восприятии поэта сразу же стал действенной составляющей русской истории.

Вообще же у Пушкина история часто выступает в специфически завуалированной и «ненавязчивой» форме. Когда из его поэтических представлений оказывается возможным выявить их *историческую составляющую* – смысл самых известных его произведений усложняется и обогащается.

Вот хрестоматийная повесть «Станционный смотритель» (1830). Ее герой обозначен уже в эпитафии: «Коллежский регистратор, / Почтовой станции диктатор» (1, VIII, 97). Эпитафия взят из стихотворения П.А. Вяземского «Станция» (1825) – причем, Пушкин «понижил» смотрителя в чине (у Вяземского: «губернский регистратор» - то есть чин не 14-го, а 13-го класса; Пушкину отчего-то важно подчеркнуть, что у его героя чин такой, что «ниже не бывает»). Из деталей внешности подчеркнута единственная: «*старый* смотритель»; «человек лет пятидесяти, свежий и бодрый», обращено внимание на «его длинный

зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах» (VIII, 99). При этом не указано: высокий он или низкий? тощий или толстый? Просто – «старый». И откуда медали – знаки воинского отличия – на сюртуке этого вполне «мирного» человека?

Потом мы узнаем его имя: *Самсон Вырин*. То ли в насмешку, то ли всерьез Пушкин награждает невидного по должности героя именем библейского богатыря. А фамилия – то ли от названия недалеко от столицы почтовой станции на Белорусском тракте (*Выра*), то ли от названия могучего мирового дерева (в восточнославянской мифологии) – *Вырий* (5,1, 254). Больше никаких данностей его облика Пушкин не приводит.

И только во второй части повести мимоходом приводится маленькая историческая деталь, позволяющая как-то восстановить и биографию героя, и его внешность. Когда смотритель приехал в Петербург, чтобы защитить свою «заблудшую овечку» Дуню, то «остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца...» (1, VIII, 103). Значит, Вырин служил в Измайловском полку.

Этот самый лейб-гвардии Измайловский полк был одним из самых престижных в русской гвардии. Уже при его основании (1730) предполагалось набирать офицеров «из лифляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских, которые на определенных против гвардии рангами и жалованьем, себя содержать к чистоте полка могут без нужды и к обучению приложат свой труд». Полк участвовал во многих военных кампаниях: во взятии Очакова в 1737 г., в войне 1812-1814 гг. (особенно отличился в сражении при Кульме) и т.п. Был он и на штурме Измаила 10 декабря 1790 г.; один из его офицеров, «неустрасимый» Леонтий Неклюдов, первым ворвавшийся в крепость, дослужился впоследствии до генерал-майора.

Самсон Вырин не мог служить в Измайловском полку офицером. Он представляется Минскому как «старый солдат» (1, VIII, 103) – то есть в молодых годах был взят в рекруты, отслужил 25 лет и вышел со службы «ветераном» («инвалидом») уже на пятом десятке. Потом, как водится, устроился на службу смотрителем маленькой почтовой станции «по тракту, ныне уничтоженному» (1, VIII, 98). А до службы – принадлежал к «податному» сословию: вероятно, был крепостным крестьянином. Теперь, попав в «почтенное сословие смотрителей», стал лично свободным человеком.

Начало действия повести отнесено автором к 1816 году (1, VIII, 98); дочери «старого смотрителя» – «лет четырнадцать». Так что вышел он в отставку в самом начале XIX века, успев послужить *как раз* в «суворовских» войсках.

Тут появляется еще одна существенная деталь, касающаяся внешности героя. Дело в том, что в Измайловский полк (еще со времен Анны Иоанновны) направляли особенно статных и дюжих рекрутов, рост которых был даже зафиксирован: *2 аршина 12 вершков* (то есть 195-196 сантиметров). И эта деталь, примененная к внешности Самсона Вырина, заставляет по-иному осмыслить всю проблематику пушкинской повести.

В советском литературоведении «Станционного смотрителя» осмысливали как первую в русской литературе повесть о «маленьком человеке» – и традиционным стало, например, сопоставление пушкинской повести и гоголевской «Шинели» (подкрепленное еще и «Бедными людьми» Достоевского, где Макар Девушкин последовательно прочитывает и оценивает обе эти повести). Но если гоголевский Башмачкин – человек, действительно «маленький», то можно ли назвать «маленьким» почти двухметрового пушкинского Самсона? Высокий человек иначе и на окружающий мир смотрит – и не может, и не захочет в нем совершенно «стушеваться». Так что пушкинская повесть – *о чем угодно, только не о «маленьком человеке»...*

Ее можно рассмотреть как повесть *о достижении жизненного успеха и о «везении»*. Самсону Вырину в жизни повезло – как тому некрасовскому солдату, который «в тридцати сражениях был, а не убит!» И после солдатчины – сумел наладить свою вольную жизнь: поступил худо-бедно на службу, завел хозяйство, женился, родил дочь-красавицу. Эта жизнь «ветерана» свидетельствует прежде всего о физической мощи и духовном величии русской природы богатыря.

А дочка его, красавица Дуня – пошла еще дальше. Она бежала из родительского дома «с проезжим повесою» (1, VIII, 105) – но (как заявил ямщик) «казалось, ехала по своей охоте» (1, VIII, 102). И осталась у этого «повесы», уповая на силу той любви, которую к нему питала. И ей тоже повезло: в конце повести она – «славная барыня» (1, VIII, 106), приехавшая на могилу отца «в карете в шесть лошадей» (значит, ее муж дослужился, как минимум, до полковничьего чина), да еще и «с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською»...

Она, как и ее «ветеран»-отец, сумела переменить судьбу. Что ожидало ее здесь, на заброшенной почтовой станции, «по тракту, ныне уничтоженному»? Стать женой, в лучшем случае, какого-нибудь сельского дьячка – и вести полукрестьянскую жизнь: «Будет бить тебя муж-привередник / И свекровь в

три погибели гнуть...» Поэтому стоило, что называется, «рискнуть судьбой»: дочь зрителя добилась для себя иного уровня жизни.

А отец – просто не понял ее отчаянного порыва. Суровый жизненный опыт суворовского солдата, привыкшего всего добиваться самому, идти через препятствия и трудности – не дает Самсону даже и возможности предположить, что та ситуация, в которой очутилась Дуня, может разрешиться счастливо. Даже «честное слово» гусара Минского, что «она будет счастлива» (1, VIII, 103), не убеждает его и не вселяет надежду. Финал этой истории он представляет однозначно: «Вот уже третий год, заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешаешь, да пожелаешь ей могилы...» (1, VIII, 105). Иного его житейский опыт даже и вообразить не позволяет.

Можно «Станционного зрителя» представить и как *повесть о человеческом эгоизме*. Ведь Дуня для суворовского солдата – не просто единственная дочь («поздний ребенок»). Она рассматривается им прежде всего как отрада и помощница в его нелегкой судьбе зрителя: «Ах, Дуня, Дуня! Что за девка то была! Бывало, кто ни проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по полчаса заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь...» (1, VIII, 100).

Вспоминая эту идиллию, Самсон Вырин рассказывает прежде всего о *собственной* судьбе: ситуация бытия Дуни волнует его уже, что называется, «во вторую очередь». И при нарушении «идиллии» он собирается вернуть «заблудшую овечку» прежде всего *для себя*: «...отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню». В ослеплении эгоизма он не слышит даже справедливого аргумента Минского: «Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния» (1, VIII, 103). И движимый желанием вернуть былую «идиллию», поневоле в глазах того же Минского становится похож на «разбойника» (1, VIII, 103).

Словом, в свете тех «исторических» обстоятельств, которые прослеживаются в сообщенной Пушкиным «знаковой» детали, вся повесть оказывается лишена видимой «социальной» направленности, а открывает некую общечеловечески значимую и даже «вневременную» ситуацию, которую заметил еще герой Достоевского: «Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое...» (5, 59).

Для Пушкина в данном случае важен именно *психологический* портрет дожившего до новых времен «старого богатыря» и «праздного исполина», который – кем бы он ни стал через сорок лет после совершенного подвига: спивающимся «коллежским регистратором» или отставным унтер-офицером (как его «старый сослуживец») – всё еще готов «завинтить свой измаильский штык» и в лихую минуту ехать защищать и свою «заблудшую овечку» Дуню, и своё отечество.

1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Тт. I-XVII. АН СССР. – М.; Л., 1937-1949.
2. Батюшков К.Н. Соч. в 2-х тт. – М., 1989. – Т.1-2.
3. Аксаков К.С. Богатыри времен великого князя Владимира // Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. – М., 1995.
4. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. – М., 1976. – Т.1-2.
5. Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 1-2. – М., 1980.
6. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. – Л., 1972. – Т.1.